

18+

Сергей Кравченко

Тайный советник Ивана Грозного

Приключения дьяка
Федора Смирного



Сергей Кравченко

Тайный советник Ивана Грозного

«Издательские решения»

Кравченко С.

Тайный советник Ивана Грозного / С. Кравченко —
«Издательские решения»,

Лето 1560 года. Москва. Кремль. Все смешалось в Большом дворце. В тяжком смятении Государь наш Иван Васильевич Грозный. Угасает от непонятной болезни царица Анастасия Романовна. Князья точат ножи! В боярстве измена! Кто спасет Государя? Боярская Дума? Стрелецкий полк? Старый митрополит? А, может, народ наш российский встанет за любимого монарха? — так он первый на подозрении! А вот мальчишка монастырский — неглупые вещи говорит! Иди-ка сюда, парень!.. Так началась служба дьяка Федора Смирного...

Содержание

Тайный советник Ивана Грозного	6
Предисловие	6
Главные действующие лица	8
Часть 1. Федор Смирной попадает в историю	9
Часть 2. Две памяти	28
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Тайный советник Ивана Грозного

Сергей Кравченко

© Сергей Кравченко, 2026

ISBN 978-5-0071-0367-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Тайный советник Ивана Грозного

Предисловие



В истории нашего беспокойного государства есть множество замечательных дат. Это не годы торжеств или великих сражений, национальных достижений или культурных откровений. Они и в других странах случаются регулярно. Нам не это интересно

Здесь, в России происходят такие события, которые круто выворачивают судьбу страны и окрестного мира. Иногда это не происшествия, достойные театральной постановки, а так, цепь незначительных дел, слов, явлений, но их соединение вызывает коренной поворот истории. Или не вызывает едва-едва. Эти цепочки фактов заряжены энергией русской богини судьбы, не удостоенной христианского пантеона.

Одним из страшных в нашей истории был год 1560-й от Рождества Христова, или, как мы тогда считали, — 7068-й от Сотворения Мира.

7068 год начался 1 сентября 1559 года и закончился 31 августа 1560 года. Так было заведено. К новому году успевали расправиться с уборкой урожая и начинали новый сельскохозяй-

зайственный цикл. Так что, наша привычка 1 сентября открывать учебный год и театральный сезон имеет глубокие генетические корни.

Вы не запутались в смещении летоисчислений? Ну, хорошо. Я просто хотел обозначить, что в тот 7068 год как раз и уместились почти все события этой книги. Осенью, в ноябре Иван Грозный разругался в очередной раз с боярством, духовенством и уехал на богомолье. В этом походе по лесным монастырям он впервые заметил недомогание своей любимой жены Анастасии. То, что произошло потом, так натянуло нить, а лучше сказать — тетиву русской судьбы, что по-всякому дальше могло получиться. Еще неизвестно при каком государственном устройстве мы бы сейчас жили, пойдя дело по-другому...

Что еще хочется отметить. Если подсчитать количество «знаменательных дат», лет «коренного поворота», «великого перелома», «крутой перестройки», «революционных преобразований», «радикальных реформ» — лет, когда наша страна находилась на многоходовом распутье, да поделить это число на общий наш срок, уверяю вас — получится намного гуще, чем у других стран! Никакому другому государству история не предоставляла и не предоставляет до сих пор такой свободы выбора. А вы говорите, мы не свободны! Очень даже свободны, слишком свободны! Нас болтает, как в проруби, и мы едва успеваем прочесть на придорожном камне: «Направо пойдешь...», а сивый мерин под седлом уже заваливается влево. И правильно. Он же не умеет читать. Зато и нам так легче. Меньше душевных сокрушений. Мы же не виноваты в нашем выборе? Он как-то сам по себе происходит?

Вот и в **1560** году что-то потащило нас налево. Что-то, не отмеченное монументами, почти не описанное пером, или старательно вырубленное топором.

А впрочем, вполне обычный по тогдашним меркам был год. Зима наступила вовремя. Холода держались до апреля. Пасху отгуляли весело — стряхнули тягостный пост. Лето взялось дружное, все у нас было посеяно, зеленело, собиралось колоситься. Рыба ловилась кошмарная — белужины едва помещались на телегу, осетры напоминали ракеты среднего радиуса. Зверь в прицел выбегал резво, без посторонней помощи. Пиво мартовское как раз поспело, мед приобрел законный градус и соперничал с квасом в утолении духовной жажды. Война тоже велась неплохо — на чужой территории, как всегда — «исконно нашей».

Но кое-кому и в такую расчудесную пору не спалось, не пилося и не елось. Вот беспокойный народ! Об этих людях я расскажу сегодня.

Главные действующие лица

— **Иоанн IV Васильевич «Грозный»**, Царь и Великий князь всея Руси — государь многих царств, княжеств и земель.

— **Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева Кошкина**, царица — первая жена Иоанна.

— **Иван и Федор** — их дети.

— **Митрополит Макарий** — глава Русской Православной Церкви.

— **Отец Сильвестр**, протопоп, пресвитер Благовещенской Кремлевской церкви — духовник царя.

— **Князь Дмитрий Курлятьев**, — сподвижник Сильвестра.

— **Отец Савва**, игумен Сретенского монастыря.

— **Алексей Адашев**, окольничий — бывший фаворит Иоанна.

— **Федор Смирной**, сирота из московских жильцов — послушник Сретенского монастыря.

— **Архип и Данила**, послушники Сретенского монастыря — друзья Смирного.

— **Сидор Истомир**, полковник Стременного стрелецкого полка — начальник царской охраны.

— **Ганс-Георг фон Штрекенхорн**, немецкий дворянин на русской службе — сотник и подполковник Стременного полка.

— **Бромелиус, Стэндиш, Элмс, Робертс и Фринсгейм** — иноземные лекари.

— **Прохор Заливной**, младший подьячий Большого дворца.

— **Василий Ермилыч Филимонов**, стряпчий Разбойной избы.

— **Егор Исаев**, палач.

— **Иван Гаврилович Глухов**, средний подьячий Поместного приказа — ближний дворянин царя Ивана.

— **Волчок и Никита** — его подручные.

— **Анисим Петров**, ключник царицы Анастасии.

— **Поликарп**, причетник Благовещенской церкви.

— **Михаил Васильевич Тучков**, бывший боярин — враг и оскорбитель царя Ивана.

— **Гаврила Шубин**, ловчий и печатник боярина Тучкова.

— **Борис Головин**, новгородский стражник — вольный человек.

— **Данила Матвеевич Сомов**, старший псарь, — ближний человек царя Ивана.

— **Ярик и Жарик**, близнецы — малолетние язычники.

— **Вельяна**, русалка — их сестра.

— **Феофан**, старец — лесной отшельник.

— **Мария Магдалина**, крещеная полька — колдунья.

— **Истома, в крещении Илларион**, кот — друг Смирного.

— **Тимоха**, сивый мерин — боевой товарищ Смирного.

Все даты приводятся по Юлианскому календарю «старого стиля».

Часть 1. Федор Смирной попадает в историю

Царь Московский и всея Руси Иоанн Васильевич, князь Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, и многих, многих иных стран государь в воскресенье 9 июня **1560** года, в последний день перед Петровым постом пребывал в бодром настроении. После одевания к нему подошел ключник царицы Анисим Петров и осмелился шептать на ухо. От этого Иван Васильевич посветлел, стал шутить, сделал несколько распоряжений о завтраке. За столом объявил благую весть: Божьей милостью младший сын царя, великий князь Федор Иоаннович обрел дар речи. Это было чудесно, потому что малютка Федор выглядел нездоровым и за три года жизни не вымолвил ни слова. Теперь появилась надежда на исправление малыша.

Стали выпивать, закусывать, веселиться. Царь от радости рассуждал вслух, что неплохо бы посетить какой-нибудь дальний монастырь. Потом вздрогнул — вспомнил несчастное паломничество **1553** года, в котором скончался маленький сын Дмитрий. Но кубок романей вернул его мысли в доброе русло, и он предложил застольным боярам устроить смотр войск, отправляемых на Ливонскую границу. Бояре были не против. Один только духовник царя протоп Сильвестр начал ерзать, не донес кусок белуги, куда следует.

Сильвестру остро не нравилась Ливонская война. Он полагал, что истребление христиан, — хоть и католиков, — менее угодно Богу, чем, например, освобождение Крыма от разбойничьих татарских поселений. Тем более, не следовало напоминать Господу о Ливонской войне среди молитв о благополучии великого князя.

Но Ивана уже нельзя было отвести от парада. В глазах его сверкали алебарды, в ушах визжали рожки и били бубны.

Сильвестр по обыкновению надулся. Раньше это мистически действовало на царя. Он очень ревниво относился к благословенности своих дел, зная неблагословенность плотских помыслов. Но сегодня был особенный день. Хотелось всеобщего удовольствия, единомыслия, ликования и умиротворения.

Власть Сильвестра больше не казалась безвыходной. Иван помнил, как в **1553** году, вскоре после взятия Казани, Господь ниспослал ему прозрение. Тогда Иван слег от нервного перенапряжения, и все подумали, что умрет. И сразу вскрылась измена. Двоюродный брат князь Владимир Андреевич Старицкий заявил претензию на трон. Он отказался присягать наследнику младенцу Дмитрию, а присяги родному брату царя — безумному Юрию с него и не требовали. Боярство раскололось на две партии, пошли совещания, начались прямые стычки у ложа умирающего. Дело доходило то плевков и толкотни. Одни не хотели присягать младенцу Анастасии — их воротило от мысли оказаться под регентством ее братьев — бояр Захарьиных-Кошкиных. Другие, наоборот, опасались растерять привилегии, нажитые при дворе и связанные с партией царицы. Иван с досадой поглядывал на ссору придворных. Особенно больно било каменное молчание Сильвестра. Духовный отец, так долго наставлявший, учивший различать добро и зло, теперь затаился, ждал, чья возьмет. Выходило, его не беспокоит судьба наследников и царицы, не тревожит предсмертный зуд Ивановой души...

Потом донесли, что больше всех мутили воду в пользу Старицкого как раз люди Сильвестра, призванные ко двору, поднятые по службе. Прямых доказательств измены не нашлось, но подозрение Иван затаил. Вернее, не он его затаил, — оно само затаилось. Не все настроения властелина поддавалось самодержавному управлению.

И вот теперь Сильвестр хмурился, был готов противоречить даже в такой день. Он должен бы первый радоваться благой вести! — нет, скорбит о ливонских католиках!

Иван начал гневаться. Горячая волна поднялась у него откуда-то снизу, от желудка, огнем прошла под ребрами, бешеной жилкой запульсировала в горле, застучала в виски.

Но тут солнечный луч отразился от золотого купола колокольни, прострелил желтое сирийское стекло в свинцовом переплете и упал на грудь сварливого протопопа. Там солнечный зайчик замер на панагии — эмалевой подвеске с картинкой, высветил лик Христа.

Иван засмеялся, от сердца отлегло. Остальные участники завтрака тоже увидели освещенного Спаса, и хоть не поняли, что тут смешного, но захихикали дробным льстивым хором.

— Ты бы, святой отец, лучше небесным откровением занялся, чем нас на Крым поворачивать. Нам сейчас из Москвы нельзя отлучаться.

— Каким откровением? — опешил Сильвестр. Он один не видел солнечного блика, но думал как раз о крымских и ливонских делах.

— А вот, гляди-ка, свет Божий, пройдя сквозь басурманское стекло, не испортился, не опоганился, а Спаса осветлил! А ты не хотел стекла менять! Не скажешь, отчего такое чудо? — тут застольные перестали улыбаться: чудо — дело серьезное!

Сильвестр увидел свет на панагии, замер, чтоб не спугнуть зайчика, но молчал.

— А оттого нам это видение, — довольно рассуждал Иван, — что сарацины — твари смертные, а песок Палестины, из которого они стекла льют, — вечен! Видать в стекло попала песчинка, на которую сам Христос наступал!

Компания перестала жевать и забыла дышать.

— На все воля Божья, — выдавил Сильвестр сквозь непрожеванную белугу.

Решили угодить всем — ради Христа, заговенья Петрова, воскресного дня и царской радости. Было объявлено посещение ближнего монастыря, какой укажет Сильвестр, потом смотр войскам, потом большое застолье в честь Федора Иоанновича. Порядок мероприятий определялся не прихотью царя, а реальным положением дел:

— в монастырь можно нагрянуть без подготовки,

— войска к походу готовы, но к смотру — не совсем,

— обед по большому обычаю и вовсе требует серьезной проработки; каждое блюдо из сорока перемен следует сварить, изжарить, сервировать, продегустировать на вкус и яд, подать точно в срок.

Стали собираться в ближний Сретенский монастырь.

Посыльный от Сильвестра опередил царский выезд на час, известил игумена Сретенки о нечаянной радости, монахи забегали, засуетились, стали наводить показной порядок. Послушников выгнали вместе с чернецами подметать и украшать, потом велели переодеться и строиться к встрече.

Федя Смирной, сирота 18 лет, как говорили — из московских жильцов, стоял в первом ряду с блюдом для даров. Федю часто назначали к дарам: очень красиво смотрелись его светлые волосы на черной рясе и при серебряном блюде. Друзья Архип и Данила беззлобно называли его «ублюдком», и Федя не обижался. Если рассуждать здраво, ублюдок — лучше, чем сирота.

Погода стояла прекрасная. Лето началось без жары, — буйной зеленью и мягким теплом. Солнце освещало новые тесовые крыши монастырских построек, они казались золотыми, сливались с церковными куполами. Все было готово, но царь не ехал. Федя стал разглядывать окружающих.

Вот игумен отец Савва. Телом толстый, лицом худой, нервный. Добивает Савву московская жизнь. Тяжко ему после Волоколамского монастыря.

Вот кот Илларион — важно шествует по свободному пространству, очищенному для царской кареты. Он тоже толстый, но спокойный, — с умиротворенным лицом, то есть мордой. Вот таким надлежит быть игумену — величавым, размеренным в движениях и мыслях.

На самом деле кота звать Истома, но отец Савва запретил языческое имя в святых стенах, и пришлось кота «крестить». Три дня назад, 6 июня был день Иллариона. Федя, Архип и Данила подманили Истома на рыбью головку и совершили тайный обряд крещения Божьей твари, окунали кота в купель, заносили в алтарь под рясой. Правда, кот купели не принял, орал и царапался, деревянный крестик с шеи сорвал лапой, крестным знаменiem пренебрегал, отговариваясь неловкостью двуперстного сложения. И на имя «Илларион» демонстративно не отзывался...

А вон передовой отряд стрельцов. Полдюжины крепышей в ярких, только что пошитых кафтанах. Все на них новое, сапоги блестят, держак бердышей начищены, будто с утра выструганы. Эти в Ливонию не пойдут, в Москве пригреблись, как Истома. Выстроились вдоль стены справа и слева от ворот. Почему-то нервничают.

А вот и движение началось. Ворота открылись как бы сами собой, худые тени монахов метнулись в разные стороны, неурочно ударил большой колокол, грянули хором все прочие. Отец Савва поморщился: никак не удавалось добиться от звонаря правильного колокольного строя.

Первым влетел на монастырскую площадь конный отрок из дворцовой охраны. Вздрыбил коня, напылил, зыркнул по сторонам, выскочил наружу. И сразу затоптали десятки тяжелых сапог, — слышно было даже сквозь колокольную неразбериху. Пешие стрельцы Стременного полка — числом до полусотни — вбежали во двор, окольцевали пустую середину, потеснили монахов, воскресных прихожан, прочих монастырских обитателей. Стрелецкий полковник подскочил к Савве, что-то спросил, выслушал ответ, кивнул, что-то сказал, еще раз кивнул, отдал команду ближним бойцам. Красное кольцо разомкнулось, сомкнулось вновь, и Савва, старцы, Федя с блюдом оказались внутри оцепления.

Застучали копыта, несколько всадников влетели в проем ворот, следом по доскам прогрохотали кареты.

«Спешит государь, — подумал Федя, — если б не спешил, пришел бы пешком. По такой погоде мог и босиком в рясе пожаловать. Набожен отец, богобоязнен».

Иван Васильевич бодро выпрыгнул из крытого возка, обитого кожей, приосанился, привел думы в надлежащее состояние. В дороге — а тут и версты нет — думал о жизни грешной.

Царь был крепкий, высокий, склонный к полноте мужчина с редковатыми, но великолепными черными кудрями, ухоженной бородой с рыжеватыми прядями, с пронизательными голубыми глазами. Иван Васильевич вызывал ощущение силы, уверенности в завтрашнем дне, надежности бытия. Поговаривали, правда, о его крутом нраве, грубых выходках, плотских грехах. Но кто безгрешен в 30 лет? Посреди мира? На вершине власти и славы?

Вслед за Иваном из кареты кряхтя вылез протопоп Сильвестр, оглядел собравшихся, довольно кивнул. Сильвестр был знатоком монастырского распорядка, наизусть знал Номоканон — сборник духовных и мирских правил, сам писал наставления.

Благословясь у игумена, царь громко сказал ласковое слово, начал широко креститься на четыре стороны, поворачиваясь всем телом, кланяясь в пояс. Совершив полный оборот, еще раз поклонился Сретенской церкви, на мгновение замер в поклоне...

Дальше ему полагалось распрямиться, принять царственную осанку, подойти к дарам и во главе процессии следовать в церковь на службу. После службы должна была состояться легкая трапеза, — именно на ее запах проследовал кот Истома. Но ничего этого не случилось.

То, что произошло за малое время выхода из поклона, стало страшной неприятностью для монастыря, стрелецкой охраны, лично полковника. И большой досадой для отца Сильвестра.

Воспитанник Сретенки сирота Федор Смирной уронил на землю блюдо с дарами, толкнул локтем отца Савву и бросился к царю, раскинув руки. Так кот Истома бросился на хвост селедки, подвешенный в трапезной.

Колокола смолкли при выходе царя из кареты, поэтому собравшиеся слышали писк Феде, ухваченного за шиворот боевой рукавицей. Федя рванулся, ряса лопнула, путь был свободен, но тут мелькнула сталь бердыша и пригвоздила подол рясы к земле. Федя рухнул к ногам Ивана, протянул вперед руки, поднял глаза и увидел побледневшее лицо, трясущуюся бороду, казавшуюся совсем черной.

«Слово и дело...» — успел прохрипеть Федя под телами двух стрельцов. Его подняли и отволокли в сторонку.

Иван продолжал стоять в оцепенении, его лицо сменило цвет со смертельно-белого на красный. Потом снова стало нормальным.

Царь отмахнулся от Саввы и Сильвестра, прыгнул в карету и умчался восвояси. А Федю без расспросов завалили в телегу и доставили в Кремль. Там его затолкали в грязную яму на вытоптанной сторожевой площадке и прикрыли дощатым щитом.

«Почему сразу не убили? — думал Федя. — А! Понятно. Будут пытаться, спрашивать, кто подучил».

Три дня прошли в духоте, жажде, полуголодном сне. Кормили дрянью.

Но сегодня вокруг ямы возникло оживление. В течение дня сторожевые несколько раз вступали с кем-то в разговоры — Федору показалось, с начальством. Дело идет к развязке, решил Смирной.

И правда, не успело солнце уйти из щели, как крышка отвалилась, и волосатая лапа вытащила Федора на свет Божий. Два стрельца в вонючих сапогах проводили пленника в темноватое помещение под дворцом.

И вот теперь Федя сидел и ждал приема у государя Иоанна Васильевича. О том, что это именно царь лично пожелал видеть вора, громко перешептывались стрельцы.

Надо сказать, вид у Феде был не очень подходящий для царской аудиенции — лицо разбито в кровь. Пятна на черной рясе уже запеклись и не слишком бросались в глаза, но все равно портили общий вид. Особенно некрасиво выходило сзади: ряса, разорванная от ворота до пояса, обнажала полотняную рубаху, вываленную в грязи и дворовой дряни.

В другой раз московские обыватели позавидовали бы Федору, — мало кто мог похвастать беседой с великим самодержцем. Но сегодня у Феде не было завистников. Приглашали его не пиво пить...

Глаза постепенно привыкали к полумраку, а нос уже подсказывал: «Не пыточная! Запах пытки мы помним!».

Ухо тоже хотело сообщить что-нибудь обнадеживающее — вот хотя бы звон шпор — палачи в шпорах не ходят! — но тут в ухе что-то взорвалось, ударил большой Сретенский колокол, взвыл кот Истома. В глазах сверкнули звездочки, и стало светлее.

Перед Федором стоял давешний стряпчий полковник, но с кошачьей головой. Он гневно разевал усатый рот.

«За что Истома здесь?» — подумал Федя.

Кот пару раз мяукнул и спросил человеческим голосом: «Ты на кого, сученыш, посягал?!».

Далее выяснилось, что в прошлое воскресенье, в Сретенском монастыре, среди Божьей благодати и при ясном солнце было совершено дерзкое покушение на жизнь грозного и милостивого царя нашего Иоанна Васильевича. Вор-одиночка Федька Смирной намеревался задушить великого монарха голыми руками, изрыгал проклятья, осквернил церковные святыни, смешал с прахом Тело Христово и Кровь Его.

За все это надо было Федьку на месте растерзать, но государь в безмерном человеколюбии велел вора допросить. Так давай, вор, кайся!

Федор осмотрелся привычными к темноте глазами. В очаге не было раскаленных инструментов пытки. Огонь тоже не горел. На перетлевших углях стояли ношенные сапоги. Полковник больше в ухо не бил.

«Значит, велено спрашивать осторожно. Значит, царь услышал „слово и дело“». Федя сделал добродушное лицо и униженно попросил господина полковника развязать руки для крестного знамения.

Развязали!

Федя спокойно перекрестился, проплямкал губами молитву, очи возвел под закопченный потолок. Сказал полковнику, что заговор был, и было покушение, но не от него, а от сил зла, и есть великая тайна, которую, увы, при всем уважении к господину полковнику сообщить вслух нельзя. Вернее, можно, но не ему, а самому государю. Да, руки можете сковать. Глаза завязать. Нет, уши резать не стоит, — как услышишь вопросы?

Полковник убыл без очередной оплеухи. Потом вернулся совершенно озадаченный. Так Истома возвращался с монастырской поварни в дни Великого поста.

Федора повели в белую гридницу — приличное помещение для дежурного стрелецкого наряда. При этом не толкали, не били, не называли вором, а наоборот, отряхивали со спины солому.

Теперь Федя сидел на лавке под стеночкой, а полковник мягко ходил вокруг по широкой дуге.

«Умыть ли? — думал полковник. — Уместен ли столь убогий вид пред царским ликом? Но, с другой стороны — вор! Битая воровская морда — знак усердия караула. Мы ж ему не сказки сказывать должны с манной кашкой!»...

Тут на входе появилась округлая фигура посыльного — дворцового подьячего Прошки. Начальник караула принял напряженную стойку.

— Полковника Истомина к государю с пленником! — крикнул царский человек, и Федю подкосило. «Истомин!». Истерический, лихорадочный смех разрывал легкие, лицо налилось кровью, тело стало валиться на лавку. Федя держался из последних сил, но не вынес этой, единственной на сегодня пытки. Всхлипнул, зашелся хохотом. Из глаз брызнули слезы.

— Ты это, парень... ты чего? — полковник озабоченно хмурился. — Не бойсь, даст Бог, жив будешь. Ну, отрежут тебе уши, загонят в Пустозерск, и так и эдак — монастырь!

Полковник вытащил из волос Феди последнюю соломинку и пошел за Прошкой. Следом бережно повели Федора. Охраны было только двое стрельцов, причем один из них — сотник.

Иван Васильевич сидел в Грановитой палате. Две думы насмерть бились в его голове. Одна бесплотно страдала в ужасе от непонятного воскресного происшествия, вопила дурным голосом. Другая молча стояла в уголке и принимала различные телесные формы, представляла то клыкастым монахом, то голой девкой, то обезглавленным стрельцом. В любом облике этой думы присутствовала кровь. Кровь на клыках, на голом теле, на стрелецком кафтане. Хотя на кафтане кровь, вроде бы не нужна? Он же и так красный? Для чего мы в красное стрельцов одеваем? — чтоб крови не боялись!

Иван задумался о значении цвета, прищурил правый глаз и обнаружил, что все вокруг стало желтым.

«А! — мелькнуло в голове, — это свет в басурманском стекле золотится!».

Но солнце уже ушло за Воробьевы горы, сирийские стекла были тусклыми, как всегда в это время и в этой части дворца. Иван открыл правый глаз и прикрыл левый. Вокруг кроваво покраснело. Резкий голос завопил: «Измена! Воры дерзают младенца извести!»

— Какого младенца? — ошарашенно спросил Иван.

— Федора безгласного! — ответил голос.

— Стража! Стража!! — закричал Иван, в ужасе тараща оба глаза.

На крик ввалился начальник Стременного полка Сидор Истомин, еще двое в красном и один в черном. Иван прищурил правый глаз, красные кафтаны утратили кровавый оттенок.

— Воры, — в изнеможении выдавил Иван.

— Вот, государь, — оттапоровал Истомин, вытаскивая из-за стрелецких спин Федю Смирного.

Федя склонился до пола, потом сел на колени, но смотрел на царя спокойно, открыто. Клыков у него не было.

— Ты кто?

— Сретенского монастыря послушник Федор Смирной.

— Зачем здесь? — Иван не мог вспомнить, где видел этого белобрысого.

— Вели, всем выйти.

Иван оторопел, хотел кричать, но глянул на Федю, как-то сразу затих и кивнул Истомину:

— Ступай, Сидор, да скажи там, что я жалую твой полк двумя бочками вина.

Полковник хотел предложить Ивану связать преступника, но осекся, подумал, что ничего страшного, парень хлипкий, и вышел без каблучного стука. Пара стрельцов протопала за ним.

— Как тебя звать? — Грозный посмотрел на Федю пустым взглядом.

— Федор.

«Федя Феде не злодей!» — пискнула в голове царя дерзкая мышь и выскочила из ушной норки. Иван брезгливо стряхнул ее с плеча.

Царь велел Федору говорить и с удивлением узнал, что в Сретенском монастыре некие лихие люди замыслили его убить. Ощущение личной опасности привело Ивана в чувство. Он подобрался, в голове стало ясно, мысли выстроились в четкую вереницу, как придворные у присяги. Оба глаза давали одинаковый цвет.

Личный страх не так пугал и расстраивал царя, как страх за близких. Он и страхом-то оставался, пока неизвестно было, откуда грозит опасность. А теперь, когда сирота рассказал о шести ворах, ряженных в стрелецкие кафтаны, Грозный почувствовал азартное удовольствие.

— Так, говоришь, держак у бердышей были сосновые?

— Сосновые, государь. И кожа на перевязях нетерга.

— А чего ж ты сразу караул не кричал?

— Я думал. Не верилось, что чужие люди могут вот так просто, среди бела дня наряжаться стрельцами, с оружием войти в обитель, стоять у царя за спиной.

У Ивана побежали мурашки.

— Они сразу приблизились?

— Нет. Сначала прислонились под стеной. Потом, когда стража твою повозку пропустила и кольцо замкнуть промешкала, они в кольцо встали. Стременные на них поглядели, но потом смотрели только на тебя. Когда ты пятое знамение налагал, они двинулись средним шагом.

— А ты?

— Я подумал, что нужно как-то оживить стреманных.

— И оживил.

— Да, только опасно вышло. Стременные на меня навалились, стали юродивых отгонять, а Вам спину не прикрыли. Хорошо, ряженные испугались, побежали за общежительные кельи.

— В монастыре измена?!

— Нет, государь. Там у нас лаз под стеной — на улицу. Всем известно.

Царь хотел отпустить Федора, но возникли новые вопросы. Иван продолжал расспрашивать о монастырских обывателях, о посторонних, о порядке, и не видал ли Федор чего подозрительного.

Солнце совсем село. Спальник не решался прервать царскую беседу и зажечь свечи. Оставлять повелителя в темноте с оглашенным вором он тоже боялся. Топтался с зажженной полупудовой свечой у приоткрытой двери.

— Зайди, пресветлый! — пошутил Иван.

Пока спальник устанавливал всюнощную свечу, пока разжигал от нее лучину и «светлил» мелкие свечки на поставцах, на столе, под иконостасом, Иван молчал. Он слишком устал, многое пережил за эти дни, многое хотел обдумать. Сделал отмашку, чтобы Федор шел восвояси, открыл было рот пообещать сироте награду, но увидел белое лицо и осекся. Федор держал палец поперек губ. Глаза у него были настороженны, но добры, и можно было думать, что он просто собирается в носу поковырять, да стесняется царя. Но Иван понял этот жест: «Молчи!».

Снова Ивану стало страшно. Тьма ночная всегда действовала на него разрушительно. Темными московскими ночами он, повелитель Вселенной, вспоминал раннее сиротское детство и такие же свечные отблески в дворцовых коридорах. Это бродили по Кремлю жуткие бояре Шуйские и Воронцовы, Кубенские и Тучковы. Все — с оружием. И все хотели смерти Ивановой.

Их почти никого уж нет: кто сослан, кто убит, кто бежал к врагам. Но страх остался. Он выпирал из холодеющей груди, рвался наружу хрипом и стоном.

— Уходи! Хватит светить! Рассветился тут! — крикнул Иван визгливо, и спальник летучей мышью выпорхнул за дверь.

— Ты что?! — шепотом спросил Иван.

— Не отпускай меня, — тоже шепотом сказал Федя.

— А куда ж тебя?

— В яму! Подержи еще дня три. Все подумают, что я повинился. Казнят у нас по воскресеньям. За три дня увидишь, кто покушался.

Иван ошеломленно смотрел на бледного, светловолосого юношу, как на невиданное животное. Никто до него не напрашивался на отсидку в яме! Никто не смел при нем говорить и даже думать о казни! Тем более, о своей, хоть и мнимой.

— Истомин!!! — заорал Иван, — забыв, что Стременной полк на закате должен был смениться с караула.

Но стременных сменить было некому, весь распорядок сломался, даже в Ливонию полки не ушли. Никто не знал, какие полки теперь туда пойдут. Полковник Сидор Истомин как раз гадал в сениях, отправят его именно в Ливонию или сразу в Крым.

Сидор вбежал к царю только с тремя словами в голове. Они поочередно всплывали в ночной тишине: «Ливония. Крым. Казнь».

— Достоин казни! — рявкнул царь, и Сидор начал валиться на колени. Но сообразил-таки, что не его казнить назначили! Вот — реакция военного! Вот умение ориентироваться в сложной обстановке боя и придворных интриг!

«Кон-дец котенку...», — сформулировал Сидор, замирая на полусогнутых, — «Жалко парня. Хоть и хлипкий, а с одного удара не валится».

Царь повелел забрать вора в ту же яму. Приставить двойной караул. Стеречь три дня и четыре ночи, считая эту. На рассвете в воскресенье быть готовыми везти на Болото. После казни полк получит недельный отдых с царской милостью. А прямо сейчас — обещанные две бочки вина.

— А не хватит, — Иван хитро прикрыл глаз, отчего в палате все позолотилось, — спросите добавки. Без счету и вычету.

И еще царь шепнул растерянному полковнику Сидору, чтоб вора держали бережно, не били, не калечили, кормили со своего стола, поили из своей бочки, на ночь дали епанчу. Матерными словами не величали. С разговорами не лезли. Все. Ступай!

Государь Иоанн Васильевич непрестанно чувствовал себя виновным.

Во-первых, он винился перед Богом, которому много чего обещал, но мало что исполнил. Царствование длилось уж 14-й год, а под скипетр православного повелителя Вселенной маловато стран и народов преклонилось. Ну, Казань с татарами. Ну, Астрахань. Теперь вот Ливонию приберем. Но Крым торчит снизу колючкой, Киев — под Польшей, Донская степь — не наша. И это только лоскутки. А Гроб Господень под смрадными агарянами? А София Константинопольская сто лет под турками? А Европа, насквозь пропоганенная папством — хуже турок? И за Каменными горами на востоке — земли бескрайние, татарские. Индия после Александра Македонского пуста, Египет, Африка — все ждут истинного света. Теперь еще в Океане Новую Индию нашли, тоже паписты ее обсели.

А долг обязывает ВСЕХ людей Божьих в православие возвратить! Они же от рождения, от Сотворения Мира православными были? Как иначе?

От этих терзаний Ивану часто не спалось. Он чувствовал себя школьником, не сделавшим домашнее задание.

Во-вторых, на Иване имелись многие личные, мирские вины. Не как у официального лица перед верховным начальством, а как у смертного человечка перед Христом, искупителем обывательских слабостей и постыдных желаний. В этом году Иван буквально раздираем был бесами вожделения. Царица Анастасия болела с осени и не очень помогала Ивану избавляться от мужской энергии.

Сейчас, после ухода Смирного Грозный сидел и пытался думать о покушении. Но мысли странным образом сбивались на подсказанную кем-то тезу: странный голос, то писклявый мышинный, то гулкий колокольный, раз за разом указывал Ивану неожиданные логические связи:

— Ты, хозяин, смотри, не очень-то греши! Твой грех обижает Господа и Ангелов Его. Они от тебя отходят, не помогают нести царский посох. От этого ты нарушаешь Божью волю — медлишь с обращением стран ближних и дальних в истинную веру, не дерзаешь мир православием обелить! И так твой малый грех обращается в грех великий!..

Голос еще бубнит, а в голове Ивана начинается такой трезвон, будто звонари на Пасху перепились и никак не могут прекратить благовест. Иван стонет, кричит, бьется затылком о спинку кресла. Звон стихает, и голос, прокашлявшись, продолжает поучать заунывно и лениво:

— На пакостный запах великого греха собираются слуги Сатаны. Они подвигают тебя на новый мелкий грех. Распаляют огонь чресел, показывают взору срамные картины, разжуживают ярость, жажду крови, жестокое сладострастие. Ты предаешься казням и похоти. Губишь невинные души. Их грехи неотпущенные ложатся тяжким грузом на твои грехи и, совокупляясь с ними, умножаются, влекут душу твою вниз...

— Во как загнул! — тянет Иван в пустых сумерках. — Какие грехи у «невинных душ»? И как это чужие грехи с моими совокупляются? Первый раз слышу, чтоб грехи размножались совокуплением!

В голове Ивана оживает воистину срамная картина. В ней личные похоти представляются чистенькими, беленькими голыми девками — с полузабытыми, но родными лицами. Чужие грехи проступают в виде глумливых чудищ смешанного пола, в шерсти, чешуе, перьях. С вакхическим гоготом чужаки заполняют палату, гоняются за Ивановыми девками, сшибают мебель и свечи.

Вот девки брызнули по углам, но не вопят в ужасе, а зазывно хохочут, чуть ли не сами срывают с себя условные и прозрачные одежды.

И постепенно все «наши» падают под натиском чужих грехов. В темных углах грохочет и визжит, аж дым идет.

— Видишь, сын мой, — голосом пресвитера Сильвестра продолжает неизвестный, — ничего святого для них нету — уж и святой угол оскверняют! Пред ликом Спаса творят невиданное дело!

— Но Спас всеведущ и всевидящ! — возражает Иван. — Ему ли не знать таких дел? Не повседневно ли они у нас творятся?

— Вот именно, сынок, вот именно! — неубедительно подхватывает голос.

Тут Иван отвлекается от дискуссии. Одна очень хорошенькая девочка, просто ангелочек, вырвалась из лап мохнатой русалки и выскочила в освещенный круг у подножия Иванова кресла. Русалка — почему-то без хвоста, но с ногами — задержалась в святом углу. Видно Бог-отец и Сын Его воспрепятствовали «совокуплению грехов». Иван умилился Божьей силой, но потом засомневался: в чистых ли помыслах Христос и Отец небесный лапают грудастую русалку?

Иван напряг разноцветное зрение и увидел, что чужая страсть зацепилась волосами за лампадку, подвешенную на цепи у икон. Масло пролилось на голову грешницы, волосы, вернее — лисья шерсть, вспыхнули и осветили палату ровным, немигающим светом. От боли лиса рванулась, сорвала лампадку и в два прыжка настигла беленькую деву у Ивановых ног. И как ее было не настичь, когда та не убегала, не лезла к Ивану на колени беззащитным котенком, а наоборот, раскорячилась на нижней ступеньке трона.

— Вот эта долбанная тварь тебя погубит, государь! — в рифму резюмировал невидимый Сильвестр, отчетливо сплюнул и в досаде удалился. Пока он шаркал к двери, голос не прекращал ворчание:

— Уж, лучше б ты сам ее драл, блудодей, чем позволять такой срам пред царственным ликом! Постеснялся бы царя, Ваня!

Иван оторвал воспаленный взор от пыхтящих греховодников, поднял дрожащую голову и увидел Сильвестра. Теперь он стоял в приоткрытой двери и осеял палату крестным знамением. Естественно, от этого все привидения исчезли.

— Позволь, сын мой, облегчить твоё смятение, — вежливо осведомился Сильвестр и вошел, не дожидаясь кивка.

Ивану стало как-то особенно неловко, будто это его, а не рыжеволосого лиса, Сильвестр застал на беленькой малышке. Он не находил слов ответа.

— Хочу успокоить твою душу, — продолжал пресвитер. — Я — твой духовный отец, и обязан указать на мнимость сего страха...

«Хороша мнимость! — ворчал про себя Иван, — такой рыжий — такую беленькую. Вдрызг и в крик!»

— То, что тебя терзает, не без Божьего соизволения случилось, и есть не козни Дьявола, но несчастный случай...

«Это она по Божьей воле ноги задрала? — тихо страдал Иван, — от несчастного случая стонала?»

— Иные будут твердить о злом умысле, коварстве, заговоре. Но ты смотри на это проще. Сирота нечаянно смутил тебя — от собственного смущения. Вот и игумен Савва за него просит.

Сильвестр смолк и смиренно стоял перед царем. Иван водил глазами по палате, не в силах остановить взор. Два луча — красный и огненно-желтый метались из угла в угол, будто пытались высветить рассеявшихся грешников. Наконец Сильвестр понял, что Иван невменяем, и осторожно вышел, поклонившись.

И сразу таким холодом повеяло из-за кресла! Так жутко скорчило спину, так страшно дуло за ворот, что Иван вскочил и выбежал в круг единственной не потухшей всеобщей свечи.

— Сильвестр! Замазывает дело! Сироту спасает! Так-то ты и моего Федора спасать будешь?! — Иван не мог видеть, что Сильвестр медлит за дверью, чутко слушает.

— Погоди, святой отец! И тебя спросим! Сдерем лисью шкуру, наденем рыбью чешую! Дай только первых людишек допросить!

Иван затрясся всем телом, выкатил глаза, и вызванный Сильвестром спальник подхватил его уже с колен. Отвел спать, долго сидел у изголовья, говорил тихие сказки.

Стременные буквально поняли приказ государя и стали кормить Федю со своего жалованного стола. А сотник Штрекенхорн — немец, что возьмешь? — так же внимательно наблюдал за неуклонностью потребления пленником заздравных чар белого меда и плодово-ягодного вина.

Вечер Федя кое-как пережил. Его донесли от гридницы до ямы на епанче, уронив только трижды. Но утром растолкали чуть свет и велели похмелиться под страхом смерти. Стрельцы опасались, что без опохмелки вор не сможет адекватно реагировать на пытку. Для контроля «протрезвления по-русски» (путем замещающей выпивки) полковник Истомин велел тащить Федора в гридницу, но прибежал младший подъячий Прошка и передал царскую волю: вора из ямы не вынимать, никому не показывать, все разговоры с ним иметь исключительно через него, Прошку. На этих словах Прошка раздул свой, и без того круглый животик в размер живота окольного или думного дьяка.

Истомин пожал плечами, горько вздохнул, и для проверки — не опала ли наступила — послал Штрекенхорна в ледник за новым бочонком имбирного меда из прошлогодней майской патоки.

Проходя по двору к пристенным лабазам, сотник Штрекенхорн заметил у воровской ямы посторонних лиц. Был бы сотник русским, он нашел бы подходящее татарское слово для очистки территории. Но педантизм толкнул его к углубленной оценке ситуации, и Штрекенхорн притаился за горкой тележных и лодочных обломков.

В те времена слово «немец» у нас означало не конкретную принадлежность к германской нации, а вообще иностранчину. Дословно оно означает «немолвящий», «неговорящий». В смысле — немой по-русски. Действительно, тогда, как и ныне, представители западных цивилизаций с трудом усваивали наш кружевной язык. Сначала они привыкали понимать слова, а потом — гораздо позже, сами рисковали произносить их.

Сотник Штрекенхорн служил в Москве одиннадцатый год, и вот что понял своим немецким ухом.

Толстый монах возле ямы просил узника облегчить душу, сказать, в чем его вина и грех, — покаяться безоглядно ему, отцу Савве. Предлагал считать покаяние исповедью. Божился сохранить любую тайну, кроме прямого посягательства на жизнь государя. Вор, видимо, отвечал невпопад, потому что следующими словами Саввы было обещание принести в яму кота и умолять государя о его — кота? — судьбе. Далее шло что-то неразборчивое о полковнике Сидоре... А! Выходило, кот ранее принадлежал полковнику, и, значит, его похитили.

Тут любопытство Штрекенхорна уступило место чувству долга. Сотник забеспокоился, что вор выдаст государственную тайну, и вышел на свет из-за телег. Приосанился, четко промаршировал к яме и попросил отца Савву воздержаться от бесед с заключенным не по его, сотника Штрекенхорна злой воле, а исключительно по указу государя.

Савва смиренно отошел.

Штрекенхорн добрался до погребов и ледника, запросил бочонок белого меда, пообещав продержаться на нем караульную сотню не менее, чем до вечерней зари, — июнь, сами понимаете — дни длинные! Намекнул, что с вечера хорошо бы испробовать «ренского» — продукт отечества, так сказать.

Возвращаясь в раздумьях о милой родине, сотник заметил у ямы еще какого-то человека. Серый, линиялый мужичок неопределенного сословия что-то осторожно спрашивал — будто сплевывал в яму, и сразу отстранялся на шаг, оставляя у края немалое розовое ухо.

Тут уж Штрекенхорн не стал прислушиваться, рявкнул на мужика по-немецки — в продолжение немецких мыслей о Рейне, и пошел в гридницу расширенным шагом. Оттуда сразу выскочили два полунедовольных стрельца с бердышами. Недовольство их относилось к необходимости гонять мужика и стоять потом у ямы до обеда. Довольная половина сознания предвкушала белый мед. Стрельцы намеревались провести караульные часы в рассуждениях, добавлена ли в белый мед яблочная патока, и если да, то каких яблок — Можайских или Белого налива.

Мужика и след простыл. Ловить было некого.

Постовая служба потянулась медленно. Никаких происшествий не случилось. Два раза являлся Истомин, проверял выправку караульных при подходе начальства.

— Смотрите мне, морды, — говорил ласково, — никого не подпускайте! Никому нельзя говорить с вором, кроме малого подьячего Прошки. Ну, знаете, розовый такой пузанчик, на заливного поросенка похож. А может пожаловать и сам государь, так вы же не осрамитесь, сопли и слюни оботрите заранее. И при государе не плюйте.

— Не беспокойсь, господин полковник, — заверил старший караульный, — не подведем. Служим в полку семь годков с половиною, то есть, это почти девять получается! — и сплюнул в яму.

Младший стрелец промолчал. Рот его был занят. Он выполнял приказ. Удерживал слюни.

Ближе к обеду стало припекать, захотелось расстегнуть летники, но раз за разом прибежал Прошка. Приказывал стрельцам отойти на пять шагов, и что-то спрашивал у ямы громким, страшным шепотом.

В третий приход Прошка надул живот и строго спросил приметы мужика в серой одежде. Ребята ответили, что рады бы, господин Заливной, но не видали — были на перемене. Прошка убежал озадаченный «господином Заливным» и непонятной «пересменкой» при несменности охранной сотни.

Но самый ужас случился в обед: караул именно не сменили! Пришел Штрекенхорн, сказал, чтоб потерпели, — ждут государя, — хреново будет, если попадет на пересменку. Обещал отдельного вина и убежал, как молодой.

Тут же принесли обед вору. Мать вашу заест! Кто ж так воров кормит?! Да еще в Петров пост! При такой жратве, — осетровой спинке, левашниках в патоке, каравае с сыром, пряниках, клюквенном морсе с ледника — каждый в вору захочет!

Не успел гад пожрать, как подскочил толстый монах с полосатым котом, хотел кинуть тварь в яму, — еле отогнали. Монах заголосил непонятные слова, тряс кота, закатывал глаза в небо, отчего там разбежались последние облака, и стало жарить невыносимо. На крик караульных прискакал Штрекенхорн. Про кота не понял. Спросил, чей кот. Оказалось — воровской. Посмотрели внимательно: так и есть! — морда круглая, хитрая, глазом подмигивает. Еще оказалось, что кот как-то сложно приходится родней полковнику Истому. Послали за Сидором. Сидор родства не признал, проверил, что кот православный — заставил монашка его перекрестить. Едва занялись исследованием масти, как налетел Прошка, велел лишних убрать, спросил у ямы про кота, велел кинуть кота в яму, вежливо отправил монаха в сторону Троицких ворот, и дерзко зыркнул на полковника.

— Сейчас государь прошествует мимо ямы!

Караул подтянулся, по несколько раз проверил носы рукавом. Начальники переместились на крыльцо гридницы. Стали ждать.

Царь спустился из Грановитой палаты по главной лестнице, очень живо прошагал в про-свет между Архангельским собором и Большой звонницей, взял чуть правее, как бы к стене, потом передумал — заложил поворот к Спасским воротам. Получилась дуга, касательная к яме.

У ямы Иван задержался. Пока часовые думали о смысле приказа: «Не позволять говорить с вором иным, окромя подъячего Прошки», — входит ли царь в «иные», и стоит ли придержать его до подхода Прошки? — вон он пыхтит, — царь подошел к самому краю и быстро проговорил несколько непонятных предложений. Яма гугукала ровно, четко, как эхо в деревенском колодце. Один раз яма хихикнула, потом мяукнула в ответ на особо мудреный вопрос царя, и младший караульный незаметно перекрестился левой, свободной от бердыша рукой.

Царь обернулся идти обратно, столкнулся с господином Заливным, что-то приказал и прошагал ко дворцу.

— Вот шагает! — умилился старший стрелец, — все бы так шагали, можно было верст по сорок в поприще проходить! — Далее стрелец распространяться не стал, потому что нелепым казалось великому царю пешком чухать до Ливонии. Да и вообще на войну. Стрельцы также надеялись, что Ливонская кампания минует не только царя, но и Стременной полк, рожденный в незапамятные времена исключительно для пешего сопровождения государя у стремени его царственной лошади.

Рассуждения прекратились в присутствии господина Заливного. Прохор выглядел особенно надутым. Поел от пуза, зараза!

— Так. Караул свободен, ступайте кушать. Скажите там Истомину, пусть другую пару пришлет, покрепче. И пусть до моего отхода не приближаются. Поговорить хочу.

Суэта вокруг ямы продолжалась до сумерек. Едва солнце позолотило маковки соборов, караул был еще удвоен, в гридницу проволокли бочку ренского, но ужинать не разрешили — выгнали всю сотню бродить по Кремлю. Приказ был понятный: «Смотреть в оба, и если что, то сразу — раз, и сюда!».

В довершение дня два стреманных первогодка подслушали приказ Заливного полковнику Сидору — лично идти к митрополиту Макарию и просить именем государя, чтоб людишки из кремлевских монастырей по округе не шастали.

И когда все успокоилось, когда над стеной взошла луна, когда из погребов проволокли очередной бочонок с неизвестным содержимым, господин младший дворцовый подъячий Прохор Заливной посетил пост у ямы снова. Вслед за этим, вора достали из ямы и вместе с котом повели во дворец.

Было тихо до странности. Только кот пару раз мяукнул на луну.

Удивительная это была ночь. В малой палате, примыкающей к царской спальне, располагалась странная компания. Государь Иван Васильевич полулежал в кресле с пологой спинкой. Государев вор Федька Смирной сидел на краешке жесткой лавки, но какая разница! — на этой лавке и боярам-то не всегда удавалось усидеть! И кот Истома (в монашестве Илларион) четырехцветной масти — в серую и черную полоску, с белой грудью и песочными подпалинами — тоже сидел в присутствии грозного монарха. Правда, пока на полу.

Разговор шел спокойный. Такого покоя при обсуждении важных дел давно не ощущали здешние стены. А дело было воистину важное! — что может быть важнее в государстве, чем жизнь, здоровье государя и его семейства? Короче, тут неспешно, со скоростью движения луны по небесам Божиим закладывались стратегические интересы правящей династии Рюриковичей

на этот, 7068 от Сотворения Мира год, и на прочие годы до скончания этого самого Мира. Интерес династии был один: выжить.

Иван Васильевич, сам не зная почему, рассказывал безродному сироте, на котором еще и воровство не закрыто, глубоко семейные дела. А в них, как принято у наших правителей, и таилась главная опасность.

При воспоминании об этой опасности у царя холодело внутри, толчком сжимало сердце и голову, огненная волна катилась от поясницы вверх — к горлу. Вниз от поясницы, напротив, падала волна ледяная, бесчувственная. И хотел царь кричать от боли и ужаса, но вор Федька говорил какое-нибудь мелкое слово, — причем и дозволения на него не спрашивал, шельма! — и становилось Ивану спокойнее, болезненные волны поворачивали вспять, сталкивались у печени и гасили друг друга.

Вот и пойми после этого: зачем царь зазвал к себе сироту? — для спроса или для лечения?

Кот Истома внимательно слушал разговор. Впервые за четыре дня его не гоняли метлой, не били сапогами, не называли — прости, Господи! — женскими существительными. Истома хотел перекреститься, но постеснялся и прилег на коврик у лежанки. Хозяин как раз спрашивал бородатого мужика, из-за чего сыр-бор горит. Мужик начал рассказывать издали, и Истома прикрыл глаза, чтобы лучше слушалось.

— Тут, Федор, давняя зависть скрыта. У моей жены Анастасии Романовны есть многая родня. Братья ее, Захарьины-Кошкины приближены к престолу, возведены в чины, составляют опору государству и защиту наследникам — Иоанну и Федору...

При звуке «Кошкины» кот Истома насторожил уши, а мужик продолжал:

— ...Но недалеко умом! Нелюбознательны, нахраписты, завистливы, ненадежны. Не обойтись ими на царстве! С давних лет я воспринял завет трех учителей: моего отца Василия Иоанновича, переданный через его духовника Иосифа Волоцкого; самого Иосифа — старца премудрого; и его ученика — схимника Вассиана. Их наука — о царских людях, ибо люди дополняют триединую суть государства: Бог на небе, Государь на престоле, люди — на земле. Но у престола простым людям быть нездорово. Власть, на которую они не имеют помазания Господня, разъедает души и ввергает в ад. И чем умнее человек, тем больше в нем дверей для искушения властью. Учителя мои завещали долго людей у трона не держать, новых советников отыскивать, выбирать сильных душой, а не умом. Ибо никто не должен быть умнее государя!

— Вот и стал я призывать советников не по чину, а по доброте. Пресвитер Благовещенский Сильвестр и окольничий Алексей Адашев долго служили мне правдой. И с досадой наблюдал я, как постепенно сбываются отеческие пророчества.

Истома прилег на бок, голову положил на лапы и дальше стал слушать не подробно, а вообще. Так лучше усваивался смысл происходящего. А смысл был таков. Этот мужик, оказывается, — наш государь Иоанн Четвертый Васильевич. Это он намеренно приезжал в монастырь, когда с Хозяином падучка приключилась. Только тогда на нем был синий бархатный летник с золотым кантом и меховым воротничком какого-то вредного зверя.

Теперь царь облачился в белую рубашку и красные штаны, восточный халат и маленькую шелковую шапочку, и потому был совсем не похож на тогдашнего.

Царь жаловался, что Кошкины не ладили с ближними людьми. Все остальные люди разделились примерно надвое. Одни теперь назывались Настасьинцы, другие — Адашевы. И нужно бы их звать Сильвестровцами, но хитрый пресвитер сказывался непричастным к распрям, и обвинить его не получалось.

Истома согласно зевнул. Слово «адашевы» звучало мягко, ласково, как шорох собственного меха по русской печи, когда сворачиваешься в клубочек. Слово «настасьинцы» вообще прекрасно произносилось, в нем слышался такой жирный «кис-кис», будто сразу за этим словом могли дать куриную ножку и рыбью спинку одновременно. Слово «сильвестровцы», напро-

тив, было неприятным, корявым, скрипучим, как крыса в монастырском подполье. Зато оно вызывало азарт, желание прыгнуть и драть жертву клыком и когтем. Это слово больше подходило для именованя врага. Тут Истома вполне поддерживал царя.

Федя спросил Ивана, давно ли подозревает измену. Оказалось — 7 лет! С казанского похода, когда среди болезни государя обозначились партии.

— А что ж ты терпел, Иван Васильевич?

— Сам уж не знаю. Казню себя за это. Нужно было мне тогда, поднявшись со скорбного одра выжечь старую свиту каленым железом. Неужто не нашел бы я свежих людей? Зато сынок Дмитрий, глядишь, не утонул бы?...

— Теперь вот опять. Осенью поехал я помолиться. Съестной припас в дорогу неведомо кто собирал, — так и не дознались. В дороге Настасье стало плохо на живот. Пересмотрели женское питье. Она меду и вина не пьет. При дворе всем женам дают только морс. И морс дорожный с горчинкой оказался. Заставили повариху выпить — с первого разу ничего. Вылили морс собакам. Они были всю ночь. Две из шести к утру околели, остальные сделались к охоте негожи. Я велел везти трупы собак в Москву, хотел отдать немцам на просмотр. Повариху снова напоили остатками морса. Со второй чарки с ней сделались корчи. Отпоили молоком — очухалась. Заковали в железа, повезли в телеге для сыску. Перед последним поприщем после ночевки нашли повариху удушенной цепью. Будто бы цепь от оков захлестнула ей шею, зацепилась за колесную чеку и намоталась на ось телеги. По приезду не смогли сыскать и собачьей падали. Истратилась куда-то. Веришь ты в такое?

«Чушь собачья!» — муркнул Истома.

Измена сказывалась кругом. Няньки князя Федора Иоанновича смотрели за ним плохо. Малец ходил в шишках, того и гляди, мог с лестницы свалиться. В еде попадалась тухлятина, хоть и секли поваров без жалости. Но, самое страшное — Настасье становилось все хуже. При чем вид болезни был тот же — осенний. И если тогда был яд, — то, получается, и сейчас не без яду? Как думаешь?

— Яды, государь, бывают разные, — спокойно отвечал Федор, — есть скорые, бьют в один миг или час. Такими греки травили своих воров, Сократа, например. А есть яды медленные. Помнишь, твоего пращура, князя Ростислава Владимировича Тмутараканского? Его херсонцы отравили восьмидневным ядом. А значит, можно развести и годовой состав. Такой яд незаметнее. Но для него нужны ближние люди. Кто-то должен сыпать его в питье малыми частями. Пересмотри слуг. Кто прислуживает царице с осени? Кто носит еду так, что остается незаметным хоть на миг? Нужно розыск вести здесь, во дворце.

— Я опасюсь не только яду, но и колдовства. Москва полна чародеями, волхвами, облакопрогонниками, ведьмами. Один наглец приходил как раз перед этой Пасхой. Обещал разогнать тучи над Москвой. А то, говорит, какое Светлое Воскресение под дождем? Велел отдать поганца медведям. Но нечисти в Москве не убавляется. За деньги готовы на любого человека порчу навести.

— Можно и колдунов поискать, но я б начал с отравителей. Это проще, ближе, вернее. А с колдунами повремени. На все сразу рук не хватит.

Тут Истома вздрогнул сквозь сон и насторожил уши: что-то очень интересное говорилось! Царь просил — просил, а не приказывал! — чтоб Хозяин Федя пожил малость во дворце, помог государю разыскать воров истинных! И Федя соглашался, но только после казни. А как же Истома? Пожить при дворцовой поварне можно даже в яме, но казнь зачем? И как казнить будут? Непонятно...

И тут — будто гром грянул с ясного ночного неба! Царь, грозный повелитель всей земли от края небес и до края их крикнул звонким голосом и назвал Истому по имени!

Истома вскочил со скоростью приказного стряпчего, выпучил глаза, состроил фальшивую улыбку и пытался потереться о сафьяновый сапог. Но ударила дверь, вбежал уса-
тый

коротышка, памятный по яме и монастырскому происшествию, все закрутилось, замелькало, Истома оказался за пазухой Хозяина, и вскоре уже наблюдал луну из дворовой ямы. Правда, не всю целиком, а только тонкий серебряный лучик на глинистой стенке. Зато еда была прежняя, дворцовая, без мышиного запаха, без гнили, без отвратительного ладана.

«Согласился хозяин, — умиротворенно думал Истома, засыпая под епанчой, — еще послушим Отечеству!».

А Федору не спалось. Он перечислял про себя все, что стало известно от царя, и что знал сам. Получалось много. Гораздо больше, чем в головоломках из святых книг. В монастыре, пытаясь разгадать какую-нибудь библейскую тайну, Федор никак не мог собрать составные части, связи, факты, достаточные для точного ответа.

Вот, например, задача о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Иисус накормил несколько тысяч народу. Если бы в притче определенно говорилось о мешках, из которых Иисус доставал еду, можно было утверждать, что целые караваны и целые рыбыны снова и снова возникали в мешках по Божьей воле. Тогда нечего говорить о конкретных числах 2 и 5. Нужно так прямо и считать: в мешки положено пять хлебов и две рыбы; извлечено столько-то тысяч караванов и столько-то пудов рыбы. А если мешков не было? Если рыба размножалась прямо в руках Христа, а у караванов отрастали оторванные бока? Как дико это выглядело! Какими тупицами были галилеяне, если, видя такое чудо, продолжали жрать и не думали ни о чем, кроме собственного брюха?! Наша монастырская братия тоже караваны рвет страстно, но покажи им чудо, — разявит рот, забудет жевать. Нет, не зря иудеев проклинали...

Отец Савва на вопросы Федора обиженно фыркал, становился похож на некормленного Истома, назначал любопытному отроку легкую епитимию. Вроде службы в поварне — чистить рыбу и печь хлеб.

А в царских тайнах было слишком много сведений. И слишком много получалось очевидных, правдоподобных ответов.

Могли желать смерти Настасьи сильвестровцы? Обязаны были! Сильвестр получил неограниченную власть со времени коронации Ивана в **1547** году. Юный царь был занят тогда только тремя делами: любовью к молодой жене, медленной местью за поруганную мать и собственным царством. Из царства у Ивана хватало времени на гражданское правление, на войну, на борьбу с разбоем. Дела духовные, церковные, дипломатические, приказные достались Сильвестру. Тут он опередил многочисленных родственников царицы. Потом братья Захарьины осмотрелись при дворе, и давай наступать!

Сильвестр и Захарьины наперебой расставляли своих людей по волостям, землям, городам. Но у Сильвестра было большое преимущество — он имел прямой доступ к государю. Более того, по главной своей обязанности царского духовника Сильвестр ежедневно подсказывал Ивану, что достойно есть, и что недостойно есть. Что такое хорошо, и что такое плохо. Кто из людей угоден Богу на государевой службе, а кто нет. Божье имя припечатывалось на все подсказки Сильвестра, как небесная печать, — попробуй, поспорь!

Но Захарьины пробирались через Настасью. Ночь была их без остатка! Не в каждую ночь Настасья могла решить дела, но если уж решала, то бесповоротно! И стал Сильвестр замечать, что уходит потихоньку из его рук ниточка царской воли. Особенно в мирских вопросах. Запустит он своего человечка в рыбные промыслы или к литейному делу, и царь этого человечка примет. Но через месяц или год прибегает человечек к Сильвестру ободранный, горько плачет сирота: обобрали настасьинцы, наехали по государеву указу. Сильвестр к царю: как же так?

— А так, — прячет глаза Иван, — очень нужно троюродного племянника царицы уважить.

Оказалось, Настасья — самый острый гвоздь в Сильвестровом распяты.

Тут при дворе выскочил Лешка Адашев — смазливый, проворный молодой человек из не очень знатных, но и не очень подлых. Сильвестр сначала огорчился, но потом рассчитал: Адашева Захарьины не пропустят, у них на каждое место по десять родичей готово. Решил Сильвестр сам Адашева пропустить. Но куда? Уж не в монахи с искусительной рожей! Сильвестр провел Адашева прямо к царю! А что? Правителю умные советники нужны. А тупые Захарьины что посоветуют? И Сильвестру Адашев не помеха — он по своим делам ходок, Сильвестр — по своим. К тому же Лешка Сильвестру такой был благодарный, что чуть в ногах не валялся и ручки целовал! Ну и целовал, а что? — попу можно.

Сложилась тихая, непоказная дружба. И конца ей не было, потому что на Сильвестровы вотчины Алексей не посягал, выдавливал потихоньку настасынцев. А этих надолго должно было хватить. И еще одного, третьего партнера нашли приятели. Настоящий князь Дмитрий Курлятьев вошел с ними в сговор и стал заниматься сословной политикой. Ему, князю, это удобнее было, чем не пойми какому Лешке или попу. Составился тайный триумvirат. Троица, так сказать.

Эти придворные расклады были в Москве известны каждому. В монастыре их ежедневно обсуждали на закате. А что царь? Он тоже чувствовал придворные дела. Но то, что обывателю представляется окончательной истиной, властителю часто кажется сплетней, интригой. Вот он и Феде излагал семейное дело в сомнении: достойно ли веры?

Как повернется московская жизнь, умри Настасья? Захарьиным сразу конец. В лучшем случае ссылка в сытые места. Там они могли бы дожидаться Ивановой смерти, Ивана-малого воцарения. Но Иван Иванович еще неизвестно, как с дядьками обойдется. Нужны они, тут под ногами путаться? Скорее, нет. Но и казнить он их не будет, оставит на прикорме. А в трудную минуту может и позвать. Значит, настасынцам нужно терпеть молча. Пока не подрастет Иван маленький. И тогда они становятся смертельной угрозой Ивану Грозному.

Сильвестровцам, наоборот, дожидаться нечего. Настасья — их смерть. Смерть Настасьи — их надежда. Ивану сейчас только 30 лет. Еще столько же может править. За это время всякое произойдет. Успеем пожить.

Хочет ли Сильвестр Настасыиной смерти?

Конечно, хочет. Но хотеть можно по-разному. Можно хотеть и делать, даже с риском для жизни. А можно просто хотеть. Чтобы это случилось само собой, безнаказанно. Сильвестр хочет и делает — без риска, как ему кажется. Он сам ядов не смешивает, ведь правда?

Алексея Адашева в Москве сейчас нет. Он в мае, с прошлой посылкой войск уехал в Ливонию третьим воеводой Большого полка. Чин плевый. В Разрядной книге с ним не продвинешься. Нужно узнать, как уезжал Адашев. С опалой, или сам? Если Настасью продолжают травить, то, получается, не от Адашева? Или он людей оставил? Или все-таки Сильвестр?

Так, кому еще Настя мешает? Были бы у царя дети от других жен или бабы на стороне, но с претензией, тогда да. Они бы Настю изводили. Но баб не видно, дети все — Настины, двоюродным братьям до царства далеко, разве что княжат передушить. Но тогда нужно с Грозного начинать. И кто-то же начинал? Что за шестерка ряженных в монастыре объявилась? Если они от Сильвестра, то что получается?

Получается так. Ивана нету, Насти нету, Захарьиных долой. И можно спокойно душить детей. Но Сильвестру это зачем? Сам в цари собрался? Ну, не Адашева же ставить? У того в роду боярства меньше, чем у Истома блох. Как бы есть, но по морде не заметно.

Значит, Сильвестр старается не для себя. Или для себя, но не в царях. А в сатрапах каких-нибудь или регентах-хранителях престола. Нужно посмотреть, какие у него связи в Литве, среди английских и немецких гостей. Узнать, какие книги читает. Спрашивать через Прошку волокитно. Сейчас бы во дворце самому поискать.

И еще вопрос. Кто приходил утром? Что за человечешко выспрашивал, вынюхивал. Он не с базара забрел полюбопытствовать, не сам по себе. Это — важный след. Кому-то очень интересно опознать вора. Спутал я карты людям. Они думают, что есть еще один заговор. С утра на Красной площади громко кричали о поимке вора, и они почему-то не могут ждать до естественного прояснения дела. Значит, придут еще.

Федор постучал палкой в крышку ямы и попросил караульных кликнуть Прохора. Толстяка подняли с трудом, и он полуодетый приковылял к яме. Ворчал, но ругаться не стал. Знал о вечерней встрече царя и вора.

Федя медленно, четко, мысль за мыслью вдолбил Прошке следующее.

Нужно правдоподобно убрать от ямы охрану. Послать несколько человек для тайного наблюдения за ямой издали. Не препятствовать приходу ночных гостей. Вообще не препятствовать никаким событиям. Следить со стороны, сопровождать пришельцев, проведать, кто такие и зачем. Только так мы узнаем, откуда ноги растут.

Последний вопрос окончательно разбудил Прошку. Он приоткрыл полы теплого кафтана, посмотрел, откуда растут ноги, скривил рот, пожал плечами и прошепел в сторону дворца.

В те времена Московский Кремль — не то, что теперь — был проходным двором. Он, конечно, был так же обнесен красной кирпичной стеной, ворота находились на запорах, особенно в ночное время. Но проверку этих запоров производили от случая к случаю, от войны к войне. Днем через ворота в Кремль беспрепятственно входили десятки, сотни богомольцев, монахов, мастеровых. И они не на экскурсию сюда прибывали, они жили здесь — во дворце, в нескольких монастырях, при церковных и дворцовых службах. Документов у пришлого народа никто не спрашивал — не было никаких документов. Даже понятия такого караулы не знали. Бывало, спросят странника: «Кто таков?», такой же ответ и получают: «Кукуйской волости села Бурьянова, растакой-то матери природный сын». И все. Короче, войти мог любой.

Минувшим днем караульная сотня Стременного полка перестаралась с повышением бдительности. Штрекенхорн лично обошел все ворота, осмотрел закладные бревна — огромные деревянные засовы, приказал к ночи все закрыть. На митрополичьем подворье было объявлено об особом положении. Приходящим и уходящим Макарий указал до захода солнца закончить дела и через ворота не ходить.

Так что теперь в кремлевских стенах было тихо.

Но Федя знал, что стен без дыр не бывает. И тот, кто идет по тайному делу, никогда не пользуется воротами. В Сретенском монастыре стены были не ветхие, ворота обычно замкнуты. Но в дальнем углу двора за общежительными кельями имелся лаз. Он даже прикрыт не был, все о нем знали. В праздничные дни, когда ворота распахивались для прихожан, воспитанники все равно пользовались лазом. Даже если их посылал по делу сам игумен Савва.

Были дырки и в кремлевской стене. Во-первых, имелись потайные ходы из башен к реке — брать воду во время осады. В самих башнях были проделаны малые сквозные ниши — печуры. Они и правда, напоминали печное устье. Человек в печуру проходил чуть согнувшись. В двух местах — с восточной стороны и на юго-западном углу стены треснули еще при пожаре 1547 года. Трещины змеились сверху и у земли достигали двух-трех вершков в ширину — ногу можно вставить. А на уровне трех саженей в трещину уже мог проскользнуть не очень полный человек. Не Прохор, конечно. Прохору нужно еще сажень подниматься. В общем, дыры есть. Для важного дела кремлевская стена не помеха. Хотя в Москве поныне бытует мнение, что Кремль на замке.

Сразу после полуночи у ямы снова возникло оживление. Подъячий Прохор привел стрелецкого сотника Штрекенхорна, что-то кричал, топал ногами, придирался к выправке полу-

сонных часовых, и, наконец, велел им убираться к черту. На хрен такой караул! Лучше замок навесить.

Караул убрался, потом вернулся, не доходя ямы свернул к пристенным лабазам, откуда вскоре донеслось кудахтанье разбуженных кур, мат, грохот железа. Потом песня. Караульные весело промаршировали мимо ямы, сбросили на крышку ржавую цепь с замком неизвестной системы, а бочонок с жидкостью известной крепости сбрасывать не пожелали. Песня переместилась в гридницу и пелась еще с час. Все это время крышка ямы оставалась незамкнутой, и вор с досадой поминал русское раздолбайство на любом году службы. Наконец, пришла пара служивых. Поддерживая друг друга в борьбе со всемирным тяготением, воины кое-как растянули цепь поперек крышки, продели концы в шаткие кольца, а уж замок вставить в звенья цепи им помог, не иначе, как святой Петр — ключник Бога и организатор хмельного поста.

Так что, если чей-то глаз наблюдал в эти минуты за окрестностями ямы, он много веселился и с трудом сдерживал ехидный смех.

В пределах Кремля находилось, однако, несколько человек, которым было не до смеха. Первый, царь Иван, инструктировал в своем покое второго — молодого человека в черном. Черное на нем было непривычным для московского обихода. Здесь не удивлялись монашеским облачениям, черным от пыли и копоти армякам мастеровых. Но ночной гость Грозного был одет в щегольской костюм польского кроя с короткой накидкой. У него был вовсе нерусский вид при вполне русском имени. Звали молодого человека Иван Глухов. Он числился при Поместном приказе, основанном четыре года назад для присмотра за раздачей вотчин.

Два Ивана разговаривали полупшепотом, хотя вокруг никого не было. Иван Глухов рассказывал о своих наблюдениях за передачей волостей в последние недели. Оказывалось, что братья Захарьины за месяц потеряли с полдюжины уездов, солеварни у Перми, земли в окрестностях двух монастырей. Представление на передачу выморочных вотчин, промыслов и наделов давал, как обычно Разрядный приказ. Значит, он под адашевцами, несмотря на отъезд Алексея, — заключил Глухов.

Грозный спокойно кивал доносчику головой, и не свирепел по обыкновению, потом спокойно перевел беседу в другое русло. Глухов получил указание взять людей и немедленно приступить к скрытному наблюдению за ямой. Любого, кто подойдет к ней, проследить до логова. Ничего не предпринимать, обо всем увиденном и услышанном доложить. Глухов растворился в ночи.

Грозный довольно вспоминал поучение старца Вассиана: «Призывай молодых». Сейчас во всех приказах служили скромные ребята из незнатных семей. Они бледными тенями скользили по приказным избам, все запоминали, все сообщали царю. Прошку, конечно, бледной тенью не назовешь, но в Большом дворце худым быть подозрительно.

Еще не спалось в кремлевской ограде сотнику Штрекенхорну. Он более других стрельцов уловил напряжение момента. Поэтому и пил меньше. Сидел на лавке поближе к двери и во всеоружии. Длинный меч шведской выделки тянул кожаную перевязь, давил на плечо. Бердыш на тяжелом дубовом древке стоял в уголке за дверью. Был у Штрекенхорна даже пистолет. Он заряжал его раз в неделю перед караулом. Сейчас пистолет оставался заряженным третий день, и сотник опасался за его огнестрельные свойства.

Не спал и Прохор. То есть, спать ему не давали. Ключник царицы Анисим Петров ходил по камерке Прошки из угла в угол и при каждом проходе толкал подъячего в плечо. Такова была в эту ночь служба Анисима.

Вот кажется и все. Нет, еще двое не спали. Оглашенный вор Федор Смирной боролся со сном в яме под епанчой. Кот Истома мешал ему бороться громким сопением, переходящим в храп. Кот дрых без задних лап — слишком плотно поужинал, слишком многое пережил за день. Под мурлыканье Истома спать хотелось вдвойне.

Второй неспящий бездвижно сидел в прорези большой звонницы, спиной ко дворцу — лицом к яме, и смотрел вниз. Если бы в русской традиции нашлось место для каменных изваяний, этого наблюдателя можно было посчитать гранитной химерой.

Так получалось, что именно этот человек стал ключом ночного движения. Раньше него никто в кремлевском дворе не смел двинуться. Но и видеть его никто не мог — так неудачно падали лунные тени. Человек тоже не видел никого из членов ночной вахты, он даже надеялся, что таковых вовсе нету. А ждал он часа, когда луна уберется за громаду дворца и зубчатку стены.

И скоро такой час настал.

Часть 2. Две памяти

Царь Иван и сирота Федор лежали в своих, очень разных постелях, но мысли их витали в одном и том же времени. Видно, что-то связывало этих людей — и не только интригой сегодняшней ночи.

Иван вспоминал начало **1547** года — венчание на царство, свадьбу с Анастасией, первые успешные дела, когда удалось преодолеть, сломать боярскую оппозицию. Но свадьба запомнилась приятнее всего. В этом обряде не было ничего натянутого, опасного. И ответственность перед молодой женой, семьей, хоть и была велика, но не шла в сравнение с тяжелой ответственностью воцарения. К памяти о свадьбе Иван прибегал, когда становилось совсем уж беспросветно. Иван прятался в то 3 февраля, в единственный день жизни, с утра до ночи прошедший в радости.

Ох, и снежной была та зима! — но солнце ежедневно показывалось над Москвой, золотило купола, осыпало алмазами деревья, весь кремлевский двор. Ивану почему-то вспоминался краткий миг выхода из церкви. Не венчание у алтаря, не застолье, не брачная ночь, а именно тот единственный шаг через порог Успенского собора. Он сравнивал его с точно таким шагом двухнедельной давности, когда выходил после венчания на царство. Погода была одинаковая — солнечно-снежная, и люди на площади собрались те же — московский люд, дворяне, беломестцы, жильцы. Но что-то разнило эти два выхода.

16 января первый русский венчанный царь был встречен криками приветов, бросанием шапок, звоном колоколов. Но глаза людей светились тревогой. Что несет им вселенское значение московского правителя? На что он покусается? Вдруг объявит сейчас войну всему неправославному миру? А мы тогда как?

А 3 февраля — дело другое! Народ завопил дружно, колокола ударили в лад, чуть не лопнули от счастья. Их «малиновый звон» превратился в «малиновый вопль». «Все были с ног до головы в малине», — улыбнулся Иван.

Люди радовались от души и не могли наглядеться на красавицу Настю, выигравшую царские смотрины — открытый конкурс невест. Всех умиляло, что царь — сам сирота с 3 и 8 лет — тоже взял за себя сироту. И когда после венчания молодая пара остановилась на ступеньках южных врат собора и собиралась ступить на ковравую дорожку, проложенную по снегу к дворцовой лестнице и Красному крыльцу, жениховы дружки — подвыпившие кравчие бросили в толпу «посыпку» — мелкие золотые и серебряные монеты. Так народ не сразу на них и кинулся! Промедлил миг, боясь оторвать глаза от царя и царицы. Этот миг Ивану был дороже всех кремлевских сокровищ, он бы каждый день опустошал сундуки, лишь бы так верили и любили. Но что поделаешь, жизнь гораздо скучнее праздника.

Хорошо бы, если просто скучнее. Она — страшнее, злее, завистливее. Никаким народным гулянием не стереть ужаса, который преследовал Ивана с детских лет. Почему-то ярче других вспоминалась сцена в маминой спальне 12 апреля **1538** года, в девятый день ее смерти. Девятины отсидели напряженно. За скромным столом придворные цепко посматривали друг на друга и опасались, просто отказывались пить и есть. Шептались об отравлении царицы Елены.

Вечером восьмилетний Ваня зашел в спальню царицы, постоял, посмотрел сквозь пыльное окно в беспросветный мрак. Подошел к постели. На ней было разложено любимое выходное платье мамы из темно-красного византийского бархата с серебряным и жемчужным шитьем. В него собирались обрядить покойницу, но кто-то шикнул на спальных девок: «Нечего добро переводить!», — и Елену погребли в монашеском облачении, хоть на самом деле не успела она принять предсмертный постриг.

«Быстрый яд смешали, сволочи! — прошипел царь Иван, вспоминая. — Ну, погодите! — я вам смешаю!».

А мальчик Ваня все стоял у постели, и платье казалось ему тенью матери, кровавым отпечатком.

Он хотел уже идти к себе, когда в дверь ударили, она взвизгнула петлями, и в комнату вошли боярин Михаил Тучков и окольничий Андрей Михайлович Шуйский, только вчера выпущенный из тюрьмы и пожалованный в бояре.

Увидев Ивана, они и ухом не повели. Тучков стал шарить по сундукам, углам, шкатулкам с рукоделием. Искали не драгоценности, их еще неделю назад ссыпали в сокровищницу. Их даже не украли! — Шуйские собирались владеть всем!

Пока Тучков шурувал в женских тряпках, князь Андрей уселся в кресло у кровати. Ноги в слякотных сапогах положил на постель, прямо на платье Елены. Ваня побледнел, оцепенел от ненависти и страха.

— А знаешь ли ты, Ваня, что мы с тобой братья? — начал в раскачку Шуйский. — Да-да, оба — Рюрикова корня. Потомки светлого Александра Невского. Только ты от младшей ветви, а я — от старшей! А что нам Рюрик завещал? Что старший брат младшему — отец и господин, не смотря на волости. Так я тебе вместо отца теперь буду.

Шуйский заржал, перебросил ногу за ногу, отчего жирный ошметок апрельской грязи упал на жемчужную россыпь по поясу платья.

— А лучше, Ваня, — продолжал Шуйский, — давай я тебе не просто отцом буду. Хочу называться не только боярином, а первосоветником государевым! Слышь, Тучков, запиши новый чин, пока не забыл.

Тучков хлопнул крышкой сундука и нервно подскочил к постели.

— Нету бумаг, Андрей! Нет переписки! Но должна быть! Говорили люди об измене. Куда ты, сука, письма польские девала?! — завопил Тучков, и Ваня понял, что он пьян.

Тучков опрокинул ларец с рукоделием, схватил вязальные спицы и, упав на колени у постели, стал с силой втыкать их в платье. При этом он изрыгал чудовищный мат и старался поразить сталью самые интимные точки. Ваня подскочил к кровати, ухватил платье за рукав и дернул к себе. Но в другой рукав уже вцепился князь Андрей, он тоже рванул платье, и оно лопнуло в воротах и в подмышках. Правый рукав оторвался и остался в руке Шуйского. Князь медленно сложил его вчетверо, поплевал на ткань и, глядя на Ваню с улыбкой, стал чистить носок сапога. Ваня выбежал в коридор.

Тут только что пронеслась толпа с факелами. Старший Шуйский, Василий Васильевич спешил схватить князя Оболенского, фаворита покойной царицы. Воняло смоляной гарью и смрадом пьяной компании.

Ваня почувствовал ледяную корку на поверхности мозга, еле добрал до своей спаленки, забылся в бреду на несколько недель. Это спасло ему жизнь...

Федор Смирной тоже вспоминал детство. И, вот же чудо! — он тоже находился сейчас на площади перед воротами Успенского собора утром 3 февраля **1547** года!

Пятилетний Федя стоял между отцом и матерью в первом ряду обывателей. Если, конечно, считать рядом беспокойный край людской толпы. Такое видное место семейству московского жильца Михайлы Смирного досталось не случайно. Смирные здесь сразу встали, пока другие металась по площади то к раздаче вина, то к столам с караваями и сыром. Теперь только красная спина огромного стрельца загораживала Федору царский выход. Отец поджал соседей влево, и Федя оказался между двумя стражниками. Очень удобно!

Гул толпы усиливался, она волновалась, дышала в спину. Будто огромный зверь ждал чего-то у норы под каменной стеной и уже не мог сдерживать возбужденное дыхание. Вдруг соборные ворота, прикрытые от февральского сквозняка, ожили, шевельнулись, подались. Толпа взвыла. И тут же ударили все колокола Большой звонницы, замыкающей площадь.

Все — да не все! Это средние колокола да мелкие колокольчики заиграли, — их усердно дергали молодые звонари. А главный московский колокол — «Благовестник», подвешенный ниже остальных, вступил, погодя несколько мгновений. Старый звонарь раскачивал его уже несколько минут, не доводя огромный язык до касания с красной тысячепудовой медью на пару вершков, и все равно ему понадобилось немало сил, чтобы поддать качания и ударить.

Бой Благовестника задал ритм действию. По первому удару отроки из охраны распахнули ворота во всю ширь, по второму — на порог вышел служка с иконой, по третьему — монах с крестом, по четвертому — митрополит Макарий с посохом Петра-чудотворца, а с пятого удара уже и пара молодых стояла перед народом. Толпа зашлась в крике и стала слышна через колокольную мелочь. Только Благовестник заглушал, будто выключал ее на мгновение.

Несколько дней назад сквозь вечерний сон Федя услышал разговор отца и матери. Отец рассказывал о предстоящей царской свадьбе. Его голос то затухал, то звучал четко, — это мама ходила по комнате и перекрывала звук. Вот она спросила, кто будет невеста. Отец ответил, что покойного Романа Кошкина дочь. Мать прошла по комнате с блюдом пирожков, и Федя услышал только два последних слова. «Кошкина дочь!». Царь женится на кошке! Вот здорово! Вот чудо!

Чуда Федя давно дожидался. Как-то раз в воскресенье после церкви он прямо спросил отца: скоро ли будет чудо, о котором все время говорит приходской батюшка отец Серафим? Отец ответил, что скоро. Как только венчают молодого царя.

— А кто будет делать чудо? — царь?

— Царь.

И час настал. Царя венчали уже во второй раз. Первый раз — понарошку — на царство, сегодня — всерьез — на кошку Настю, и отец сказал, что больше венчать не будут. Значит, это последний случай для чуда. Федя стоял, раскрыв рот. Он ожидал увидеть у невесты маленькие треугольные ушки, полосатую мордочку и мягкие лапки.

И вот царь с молодой женой появился в воротах храма. Колокол ударил особенно страшно. Отец еще дома предупредил, что бояться нечего, и теперь Федя не жался к родителям, во все глаза смотрел на царскую пару. Ближе к Феде стоял царь, он загораживал царицу Настю. Ох, и царь это был! Молодой, красивый, радостный, весь в золоте и камнях. Невеста выглянула из-за его плеча и тоже оказалась ничего, но как-то Федею не взволновала. Никакая это была не кошка. Федя сосредоточился на царе: теток красивых в Москве полно, а царь у нас один! И только он может совершить чудо.

Вот из-за спин молодых вышли красивые парни в желто-черных кафтанах с большими блюдами. Вот посаженные родители взяли что-то с блюд и взмахнули под удар Благовестника. Дождь золотых искр посыпался в снег и на ковры, на ступени и расчищенную мостовую. Федя протянул к искрам руки, но ничего не поймал. Монеты еще прыгали по камню, а две другие руки уже брали с блюда золото. Царь и царская невеста тоже взмахнули под благовест. Толпа за спиной выдохнула, качнулась, но осталась на месте. Федею повлекло вперед, он ухватился за коричневую ручку стрелецкого бердыша, и в его правую, раскрытую ладошку, что-то тяжело шлепнулось. Федя не успел посмотреть, что. Отец подхватил его на руки, подался влево и назад, пропуская людей в хвост царской процессии.

Они еще постояли под стеной церкви Ризоположения, пока царь и царица поднимались к Красному крыльцу, потом погуляли немного, и только по дороге домой, когда мама сунула Феде медовый пряник-лошадку, он разжал пальцы. На ладони лежала золотая монета.

— Смотри-ка, сын царскую монету поймал!

— А может, невестину, — заспорила мать.

— Царскую! Царица левой рукой бросала, ее монеты налево ушли.

Вот вам и чудо!

Но монету отобрали у Федя с уговорами, спрятали до более взрослых времен, — чтоб не потерял, не отняли мальчишки, не замылили вороватые взрослые. Федя понял утрату правильно — все-таки дорогая, царская вещь.

Он только иногда, по праздникам или когда болел, просил родителей показать «чудо» и засыпал с монетой в кулаке.

Сегодня, в эту странную ночь самозаточения, ему снова было плохо. Здесь в яме, хоть и на службе государю, но в неволе, когда милых родителей уже не было на белом свете, когда кромешная тьма обступала со всех сторон, Федя просунул руку за пазуху, нащупал рядом с нательным крестом тяжелый металлический кружок и сжал его в кулаке. Слезы как-то сами покатались по щекам. Их только две и успело упасть — по одной из каждого глаза, когда глуховатый голос прошептал над крышкой ямы — то же, что и прошлым утром:

— Чей ты, человек Божий?

Теперь, в отличие от утра, Федор знал, что ответить:

— Божий и есть. Божий и предстоятеля Божьего.

Возможно, кому-то другому потребовалось бы разъяснение, что за предстоятель такой. Но человек наверху не переспросил, видно, понял по-своему. Помолчал немного, потом поворачивал под нос и сказал, как бы сам себе:

— Нет, за сегодня не успеем.

Потом спросил у ямы:

— Как думаешь, еще день и ночь просидишь?

Федя ответил горячо, используя слезы, накатившие в память о родителях:

— Осталась только эта ночь до утра, добрый господин, потом два дня и две ночи, а уж в воскресенье утром мне на Болото велено собираться! — и Федя жалобно заскулил.

— Не тужи, — прохрипело сверху, — время есть. Посмотрим, какой ты Божий. Божьего человека Бог в обиду не даст. Сиди с миром.

Голос смолк, прошаркали мягкие, без каблуков сапожки татарской выделки, и в наступившей тишине снова стало слышно, как похрапывает кот Истома.

Это сейчас воры предпочитают промышлять ночью. Темно, ничего не видно, можно неувловимой тенью скользнуть в интересное место, незаметно прилипнуть к деньгам, товарам, ящику водки, куску колбасы. А в наше, иван-грозновское время, еще неизвестно, когда легче было с воровской целью пробираться. Днем улицы Москвы немногочисленны, но прохожие есть, причем всякие. Можно затеряться, если ты не вырядился петухом. Днем и собаки спят по будкам, бдительность не очень проявляют — на каждого не нагавкаешься — лишь бы во двор не лезли!

Другое дело — ночь. В Москве, особенно на окраинах, жизнь умирает до рассвета. Любой прохожий — чрезвычайный объект. Это или тать (домушник, базарный щипач), или вор (государственный преступник), или опасный гуляка с ножом за голенищем.

Ночью московские собаки не спят. Они чутко нюхают воздух, внимательно следят за рамкой ворот, за кромкой забора, подсвеченной звездами и луной. Собаки настороженно прислушиваются к дыханию улицы, шороху кустов и деревьев, голосу своих собратьев на пространных околотках. Слух ночных сторожей вылавливает чужеродные звуки из шумов природной обстановки. Даже среди бури собака различает скрип калитки, хруст сучка, треск заборной доски. А уж в тихую погоду ни одна сова не остается незамеченной в ночном полете, ни один камешек — в подкаблучном шорохе.

Страшнее сторожевой, цепной или отвязанной на ночь собаки другой, чисто русский зверь — мишка косолапый. Он тоже встречается на службе в обеспеченных домах. Его тоже

отпускают на ночь. И тут уж берегись! Мишка не лает, не визжит от страха, не берет ночного вора на понт горловым воем. Он наваливается из подворотни черной глыбой, и ты успеваешь услышать только тяжкий храп, сопение зверя и хруст собственных ребер. Молись скорей! Неприлично предстать перед Господом без покаяния!

Не спят ночью и многие ночные сторожа. Есть, конечно, среди них халтурщики, увольняемые без выходного пособия, — прямиком в солдатские полки или кабальную запись, но в целом, московский сторожевой корпус службу несет удовлетворительно. Собакам и медведям в их труде это большое подспорье, особенно в трезвые ночи, не после праздников.

Московские улицы замкнуты околоточной стражей кое-как, но мосты, городские ворота, заставы охраняются крепко. Просто так, то есть бесплатно, не пройдешь. А платить — свидетелей плодить, — себе дороже. Так что, ночью пробираться по Москве у нас дураков нет, особенно, если можно переждать до утра. Но переждать тоже нужно не где придется. Под мостами опасно, там воровские гнезда, бродячие шайки, банды, стаи больных и убогих. В кустах, под заборами тоже можно напороться на посторонних.

Ночной гость кремлевской звонницы поступил разумно. Он как спустился из расселины в стене на Боровицком углу, так сразу и залез на ясень. Поднялся повыше, осмотрел дерево «изнутри» — чисто. Устроился поудобнее — с видом на Кремль и «живой мост», связанный из больших лодок. Видно, этому человеку очень нужно было на ту сторону реки.

Солнце взошло скоро. Июнь — месяц коротких ночей. В четыре утра посерело на востоке, в пять стало совсем светло, а в шесть начался обычный рабочий день. Пятница. 14-е июня.

Заскрипели телеги с базарным товаром, по мосту пошло движение, окрестности Кремля стали наполняться народом. Сюда, в центр столицы потянулись торговцы. Здесь и в те времена происходил самый оживленный товарооборот, здесь крутились основные деньги нашей родины. Поныне Красная площадь втягивает их безвыходной воронкой и не выпускает обратно. Прижимиста мать наша! На сторону инвестирует со скрипом.

Остаться на дереве стало неприлично. Человек, соскакивающий с ясеня у правительственной резиденции, мог не понравиться бдительным москвичам, тем более — в военное время, когда рыночные разговоры наполнены польскими, литовскими, крымскими страхами в добавку к повседневным церковно-славянским ужасам. Пришлось человеку очень долго озираться, всматриваться в округу, разглядывать каждый пригорок, каждый кустик — не зашевелится ли где?

Нет. Ничего не видать. Все спокойно. Человек осторожно соскользнул по шершавому стволу и присел отдохнуть за кустами. Еще с полчаса наслаждался пейзажами утренней Москвы-реки, скромным судоходством — в основном весельным и одномачтовым парусным, неплохими видами окрестной природы. Наконец поток обывателей на мосту достиг желаемой плотности, и человек спокойно проследовал к реке, беспрепятственно протолкнулся меж встречных пешеходов и скрылся в узких, кривых улочках Замоскворечья, лишь кое-где мощеных сосновым тесом. Толку от этого мощения в июньскую жару мало, только грохот деревянного тротуара разносится на всю улицу — даже от осторожных шагов мягкой, бескаблучной обуви.

Наш ночной наблюдатель проследовал по пыльной, немощеной середине улицы, вид у него был умиротворенный, расслабленный, и неопытный глаз мог принять его за удачно распродававшегося коробейника. Правда, ни кораба, ни суммы у него не было. Но вдруг он сдал товар оптом? — с упаковкой, так сказать? И возвращается теперь налегке в родное Подмосковье? Может быть, может быть. Только вы скажите это своей тете, а не Ваньке Глухову — другу всех собак во всех московских подворотнях.

Ванька тоже шел вразвалку. Он еще больше походил на коробейника, потому что короб-то у него имелся, и не пустой. Видно, не совсем расторговался наш Ваня в этот ранний час. Кое-

что в его коробушке болталось. Так, ерунда: английский двуствольный пистолет с кремневым боем, кинжал арабской работы да мешочек со свинцовой дробью, годной для зарядки стволов и для тихого удара в висок. Еще там находился запас пороха, коврига черного хлеба, пара малосольных огурцов, кусок вяленой свинины с заметной мясной прорезью, пара крутых яиц. В углах коробки можно было наскрести щепотку соли, рассыпанной в прошлую засаду. При быстрой ходьбе в коробе перекачивалась глиняная бутылка кваса, а более серьезных напитков подьячий Поместного приказа Иван Глухов на службе не принимал. Тем не менее, настроение у Глухова было прекрасное, подстать погоде и содержимому короба.

Глухов шел не один. Два его парня, Волчок и Никита бежали соседними улицами, поочередно выходя в переулки по пути объекта. Они появлялись друг у друга на виду и подавали условные сигналы о положении цели. Так что, когда ночной герой добрался до места, он был наблюдаем с трех сторон: справа и слева вдоль улицы, и в спину — с тропинки, выющейся между заборами. Эту тропинку можно было считать переулком, не будь она так узка и кривобока.

Незнакомец несколько раз ударил ногой в сплошной тесовый забор, отчего там зарычало, но тут же смолкло какое-то мощное животное, зашиканное невидимым дворовым человеком. Получается, гостя ждали. Кто-то караулил во дворе. В тесовой стене приоткрылась калитка, и гость проскользнул внутрь.

К этому времени Иван Глухов уже сидел на дереве и наблюдал содержимое подворья. Ничего тут особенного не было. Захламленный двор, чахлый сад, просторный забурияненный огород, пустые сараи. Скотины не чувствовалось, по крайней мере, через улицу хлевом не шибало. Народу — никого. Или спят, или по городу ходят. Обычный двор черного, едва свободного народа, но пустой, брошенный. Изба косая, крытая гнилым тесом помнит лучшие времена. Прорехи в крыше прикрыты соломой. Ничего примечательного, противно смотреть.

Однако, что-то привлекло Ивана, и он сказал «угу!». Это означало удачное умозаключение. Типа «эврики», но солиднее, спокойнее, увереннее.

Открытие касалось пустяка — сенных ступенек. Их выскоблили до белой древесины. При общем запустении двора избу недавно приводили в жилое состояние.

И вот еще. Солнце уже светило, но в комнате, смотревшей окнами на Ивана и, соответственно, на север, было сумрачно. Оконная рама с растрескавшейся слюдой оставалась открытой с ночи, и Иван видел под окном стол, на котором собирались рассматривать бумаги. Иначе, зачем там вспыхнула свеча деньги эдак в четыре?! В ее свете мелькали три силуэта, среди которых легко угадывался гость. Второй темный контур на месте не сидел: то исчезал, то снова появлялся в рамке окна. Похоже, подавал на стол. «Дворовой холоп», — заключил Иван.

Третья тень восседала недвижимо. Это был самый «тяжелый» силуэт. В его позе сквозила привычка к неторопливости. Правда, когда он поворачивал голову в полупрофиль, свеча прорисовывала тонкий подбородок с волнистой бородой, длинный орлиный нос, измученное лицо, поджатые губы, выпирающие скулы и височные кости. «Бывший толстяк», — определил «Тяжелого» Иван.

За столом велась беседа. Губы шевелились, но Иван не умел читать по губам, поэтому посвятил свои усилия художественному промыслу. Достал со дна коробки древесный уголек и стал набрасывать на внутренней стороне крышки «Портрет Бывшего Толстого Незнакомца». Уголек раскрошился после нескольких извилистых линий, но профиль был схвачен удачно. Полутона художник продолжил накладывать пальцем, растирая угольные крошки. Получалось неплохо. Ивану нравилось.

Тут натура дернулась, несколько раз рубанула воздух рукой, выпила из кружки и пожала плечами, как бы извиняясь. Гость вскочил, поклонился на четверть, — достаточно определено, чтобы Иван понял: «Ночной» «Тяжелому» не в версту. Чинов на десяток меньше!

Дальше все закрутилось быстро. «Ночной» выскочил из дома, покинул двор, резво пошел по улице в сторону окраин. Глуховские ребята повели его вприпрыжку. Иван еще с час сидел на дереве, но в окне стало темно, «Тяжелый» больше не показывался. Подворье замерло и казалось нежилым. Только однажды невзрачный серый мужичок выскочил во двор, пробежал к сараю, выволок оттуда вопящую курицу и ловко отхватил ей голову прямо на весу, посреди двора. Голова отскочила, и к досаде мужика досталась здоровенному цепному волкодаву. «Самое ценное, что тут есть», — подумал о собаке Иван. Мужик вернулся в сени, опять выбежал, стал ощипывать курицу в уголке под забором, и делал это очень неумело.

«Ножичком у нас лучше получается!», — улыбнулся Иван и добавил: «А баб тут нету».

Мужик вскоре убрался с ободранной курицей, из трубы повалил дым, хотя по летней погоде полагалось стряпать в надворной печи. Но была ли она во дворе, Ивану разбираться уже не хотелось. Он выбрал момент, соскользнул с дерева и ушел по тропинке-переулку.

В наше время сведения Глухова протоколировались бы до вечера, потом еще от недели до месяца собирались и проверялись улики, достаточные для суда. Весь этот месяц замоскворецкие халупы «Тяжелого» и «Ночного» наблюдались бы сменными топтунами, наружкой, филерами.

А тогда — нет! Тогда — раз, и готово! Некогда было му-му водить. Очень страшно было!

Поэтому через час вдоль помеченного Глуховым тесового забора бежал, задыхаясь, сотник Штрекенхорн с пистолетом в одной руке и бердышом в другой.

Следом вполне поспевали два десятка русских ребят в красных кафтанах и несколько кожаных немцев с алебардами и пищалями. В соседних улицах тоже стояли караулы, поэтому бежать обитателям странного дома не получалось. Стрельцы не стали вызывать к их благоразумию, врать о явке с повинной, о смягчении вины. Они просто высадили калитку, зарубили на всякий случай волкодава, разнесли входную дверь и очень жестко положили на пол «Тяжелого» и щуплого «Дворового».

Никто и не убоился, что арестанты могут «иметь лапу в Кремле» или у них много денег. Худенькому разбили морду о лавку, «Тяжелого» тоже неаккуратно завалили. Но он молчал, только рычал с досады.

«Тяжелому» было на что досадовать. Его портрет работы молодого московского художника Ивана Глухова уже был предъявлен царю Ивану, вызвал смертельную бледность, обморок и крики по возвращению из небытия: «Взять! Взять!! Взять!!!».

Фамилия «Тяжелого» стала известна из уст очнувшегося государя: «Тучков!». Тучкову надели на голову мучной мешок, посадили в крытый возок и оттарбанили с максимальной скоростью в кремлевские казематы.

Аналогичная участь постигла «Дворового», ночного собеседника Феди Смирного и дюжину душ с гостиного подворья, где квартировал «Ночной». Этим, правда, мешков не надевали и транспорта не подавали. Их связали толстенной веревкой и проволокли через реку, как карасей на кукане.

Остаток дня с полудня до глубокой ночи был посвящен предварительному следствию. Для этого очистили от караульной сотни просторную полуподвальную камору — черную гридницу. Стрельцы господ Истомина и Штрекенхорна перешли в светлую и чистую белую гридницу, где жалованный мед можно было оценивать не только на вкус, но и на цвет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.